

В. Н. ТОПОРОВ

## ИЗ ИСТОРИИ БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЕЙ: анчутка

В ряде предыдущих статей автору этих строк приходилось высказываться о характере и хронологии взаимоотношений балтийского и славянского языковых элементов, в частности, в тех областях, где балтийский этнический слой давно исчез или даже не засвидетельствован (строго говоря) исторически. К таким областям принадлежат, между прочим, обширные восточнославянские территории (прежде всего в их западной части). Поэтому, не повторяя сказанного раньше, в видах правильного понимания последующих рассуждений уместно подчеркнуть, что термин „балтийский“ применительно к указанной территории (как, разумеется, и к некоторым другим, — периферийным по отношению к области распространения современных балтийских языков) ни этнически, ни лингвистически не противопоставляется термину „славянский“. Однако соотношение „балтийский“ и „славянский“ не теряет от этого свой смысл, но реализуется оно в иной перспективе — исторической и стадиально-типологической. Таким образом, оказывается целесообразным говорить, с одной стороны, о „*Baltica*“ Подмосковья, а с другой, — о „*Slavica*“ Прибалтики. Не случайно, что в отношении ряда территорий (включая западную часть восточнославянских областей приблизительно по линии Псков — Тверь — Москва — Тула — Курск — Чернигов) для анализа одних и тех же фактов допустимо и оправдано обращение к двум перспективам — балтийской и славянской. Более того, теоретически и практически необходимо настаивать на том, что такие территории, применительно к которым используются толкования в духе обеих указанных перспектив, представляют собой ареалы, где происходила или даже до сих пор происходит (пусть затухая) дифференциация балтийского и славянского элементов или, говоря точнее, перерастание одного в другой, переосмысление балтийских языковых фактов как славянских, конкретно-великорусских. Если сказанное верно, то лингвистическая ситуация, возникшая в бассейне Верхнего Днепра, в Подмосковье и в смежных частях бассейна Оки и, несомненно, существовавшая еще во второй половине 1-го тысячелетия нашей эры (и, видимо, кое-где удержанная и до более позднего времени), как раз и отражает то, что можно назвать ло-

кальным вариантом балто-славянского языкового единства, в котором уже были ощущимы тенденции к дифференциации – лингвистической и этнической. Хочется думать, что подобный вывод имеет отношение как к пониманию балто-славянской проблемы в существенно более раннюю эпоху, когда будущие носители славянской речи выделились из бесспорно балтийского этнического и лингвистического массива, так и к интерпретации тех актуальных процессов, которые имеют место и сейчас на территории Дзукии или Латгалии.

В связи с этими соображениями вопрос о балтизмах в русских говорах, ставший столь популярным в самые последние годы (ср. прежде всего исследования Ю. А. Лаучюте), может принять совершенно иной облик. Дело в том, что до сих пор балтизмы, как правило, рассматриваются как относительно позднее явление и во всяком случае вне проблемы этнической истории периферийных балтийских племен и их дальнейших трансформаций. А между тем, типология балтизмов на восточнославянской территории такова, что, говоря о них, вовсе не обязательно предполагать обычную двучленную ситуацию – заимствованное и заимствующее. Возможно, что такое соотношение лишь дань традиции, безусловно оправдывающей себя в несколько иных условиях, но в данном случае едва ли вполне применимой. Если бы за этим соотношением не стоял этнолингвистический переход (балтийский→славянский, конкретно: русский, белорусский и под.), то, может быть, балтизмы в восточнославянских диалектах и не рассматривались бы как заимствования по преимуществу. Во всяком случае здесь автор хотел бы привлечь внимание к возможности принципиально иного понимания восточнославянских балтизмов, а именно: в русских говорах балтизмы, строго говоря, не являются заимствованиями; здесь они у себя дома; они не нововведение, а архаизм; сами по себе они неподвижны относительно разных языковых комплексов, но вокруг этих уцелевших архаизмов балтийской речи языковая среда изменилась настолько радикально, что они из части материка превратились в островки и в силу этого стали восприниматься в совершенно ином топосе. Остается только добавить, что эти соображения находят поддержку не только в лингвистических, но и в археологических, исторических, фольклорно-мифологических, этнокультурных фактах, на основе которых уже сейчас можно говорить о формировании „здравого смысла“, заставляющего именно так истолковывать проблему балтизмов в восточнославянских говорах.

\* \* \*

Слово *анчутка*, немногочисленные его варианты и связанные с ним другие слова принадлежат к числу архаизмов балтийского происхождения (см. об этом ниже), вросших в восточнославянский диалектный словарь.

Само слово *анчутка* с относительно точной локализацией засвидетельствовано несколько десятков раз<sup>1</sup>: в Псковской губ., Тверской губ. (Корчевский уезд), Смоленской губ., Калужской губ. (в Мещовском и Тарусском уездах), в Тульской губ. (в частности, в Дубенском и Крапивненском уездах), Рязанской губ. (в Рязанском, Зарайском, Касимовском, Скопинском и Данковском уездах), Тамбовской губ. (в Борисоглебском, Кирсановском и Козловском уездах), Пензенской губ. (в частности, в Городищенском и Земетчинском уездах), Симбирской губ., Саратовской губ., Воронежской губ. (в Воронежском уезде), на Дону, в Орловской губ. (в Карабаевском, Болховском, Севском, Троснянском уездах), Курской губ. (в Суджанском, Фатежском, Белгородском уездах), Сумской губ. (в Глуховском уезде), в Тверской губ. и Тифлисе — на юге, в Оренбургской губ., на Урале и в Тобольской губ. — на востоке. Словообразовательные варианты (включая и случаи искажений под влиянием народной этимологии) отмечены в Псковской губ. (*анчута*, *анчию́д*), в Калужской губ. (*анчут* Мосальский уезд), в Смоленской губ. (Смоленский и Дорогобужский уезды) и Калужской губ. (Жиздринский уезд) (*анчутик*), в Орловской губ. (*анчушка* Дмитровский уезд)<sup>2</sup>. О распространении этих слов см. подробнее Схему. Разумеется, этот перечень не полон и, скорее, отражает общие пределы существования этих слов, нежели лингво-географические детали. Тем не менее, бросается в глаза, что, исключая явно поздние и в какой-то степени случайные примеры из русских говоров Кавказа, Урала и прилегающих к нему территорий, ареал распространения слова *анчутка* и его ближайших вариантов очерчивается линией Псков — Тверь — Рязань — Воронеж — Курск, к которой с востока и отчасти с юга примыкают области с отдельными анклавами, в которых отмечено указанное слово. Западную границу распространения слова *анчутка*, по имеющимся данным, можно провести по линии Псков — Смоленск — Севск.

Основной круг значений слова *анчутка* включает следующие семантические спецификации:

1. ‘Черт’, ‘бес’, ‘нечистая сила’ (ср. такие примеры, как: *В бане видели чертей, банных анчуток, кикиморами что прозываются; Штоб тебя анчутка стрескал, иши как напужал; Анчутка тебя забери; Пойди-ка ночью в лес, там тебя анчутка схватит; Не ругайся на ночь, анчутка приснится; Допился до анчутков; Вот погоди, анчутка придет,*

<sup>1</sup> Ср. прежде всего: Словарь русских народных говоров, I, Москва — Ленинград, 1965, 262—263 (далее — СРНГ); Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области), Москва, 1969, 46; Даль I<sup>4</sup> 49 (*анчутки*) и др.

<sup>2</sup> СРНГ I 262, 263; В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, Смоленск, 1914, 11; Псковский областной словарь с историческими данными, I, Ленинград, 1967, 66.

возьмет тебя; Ровно ему анчутки таскают (= помогают); *Анчутка* ее знает; Что же, те две анчутки не брыкаются; *Анчутка*, кобель, гойник, всю рубашку изодрал; Эй, вы, анчутки, куда вас несет такую рань СРНГ I 162–163; *T'up'ér'* вот нъ удáвл'ин'ику ан'ч'утк'и катáйуциъ; Камú скаду́йут, в'ал'ат' лутавыи хр'асты д'е́лът', к камú ан'ч'утк'я л'атáйт', лутбыйи хр'асты пънав'ёшъйт'. Он пр'ил'ат'йт'; У-у, скобра дъгадáлас'! Мы фс'е нъ з'амл'е ан'ч'утк'и хóд'им, тóкъ рауóф н'ет Слов. Деул., 46; Собралися в баню анчутки, мурмули и курдуники и говорят: „Ну-ка, мурмуль, паиграй; ну-ка, курдуники, – паскач!... Добров. Смол., 11; Порешили, что это анчутки над ними подыграли<sup>3</sup>; Им, аниюдам, жаль Псковск. обл. слов., I 66 и т.п.);

2. ‘неряха’, ‘грязнуля’ (Ходит как анчутка; Вымазался как анчутка; Да ты погляди на себя, ты анчутка; Вышел как анчутка СРНГ I 263);

3. ‘бедный, несчастный человек’ (см. СРНГ I 263);

4. ‘баловень’, ‘баловник’ (см. СРНГ I 263);

5. бранное слово (*Oх, ан'й н'ил'уд'ймаи, скупыи, ан'ч'утк'и, с'н'éга камóкни выпрас'ши; А поп, ан'ч'утк'я, н'a стал служыт'; Майá кúр'ица у т'иб'á ап'ат' нъ сушил'и с'н'аслás', во ан'ч'утка-тъ; Рыс' етъ ан'-и'утк'я, гъвар'ат'; л'уд'е́й иес'т' Слов. Деул., 46 и под.*).

Именно эти значения указывают словари и некоторые другие работы (обычно этнографического характера), где упоминается об *анчутке*. Легко заметить, однако, что эти значения не что иное, как попытка описывающего определить и подытожить основные случаи словоупотребления этой лексемы. Действительно, указанные значения в принципе не противоречат описаниям *анчутки* и позволяют с большей или меньшей приближенностью понять соответствующие выражения. Тем не менее, большинство постулируемых значений суть очень приблизительные контекстные варианты общего значения, которое в весьма сильной степени уже стерлось или даже вовсе утратилось. Не случайно, что приводимые выше значения 2–5 могут пониматься как единое отрицательное (иногда в относительно сильной степени, гораздо чаще – в более слабой – пренебрежительно-фамильярной, почти семейно-бытовой форме<sup>4</sup>) обозначение, выступающее именно как бранное или пренебрежительное слово. Значение 1 (‘черт’, ‘нечистая сила’) бесспорно

<sup>3</sup> Д. Н. Садовников, Сказки и предания Самарского края, С.-Петербург, 1884, № 232 (ср. там же, № 229).

<sup>4</sup> Интересно, что в ряде мест слово употребляется почти исключительно в языке женщин и детей, ср. СРНГ I 262; ср. также: Безобидное ругательство. Мифологический смысл утерян, Тифл., Михайлов, 1909 (СРНГ I 263).

в том смысле, что в соответствующих примерах анчутке приписываются те же предикаты, что и черту и некоторым другим видам нечисти. Вместе с тем само это значение слишком экстенсивно, чтобы довольствоваться им при попытке разрешения всех неясностей, связанных с происхождением слова *анчутка*.

А между тем, совершенно ясно, что слово *анчутка*, балансирующее где-то на грани между сферами аппелятивности и имени собственного, обозначает представителя некоего класса существ, принадлежащих к нечисти, или сам этот класс (отсюда — нередкое употребление этого слова именно во множественном числе: *допился до анчутков; анчутки катаются и под.*). Определить, какова специфика класса „анчуток“ среди других категорий нечистой силы, — значит открыть путь к дальнейшим разысканиям в истории этого слова. К счастью, записан ряд выражений и определений, которые делают правдоподобным заключение о принадлежности *анчутки* (*анчуток*) к тому классу нечисти, который связан с водой и в то же время обладает способностью летать. Характерно, что связь с водой лучше всего сохранилась на периферии. На основании примеров, собранных в станицах Терской области, М. А. Карапулов дает следующее определение: „*анчутка — водяной, страшилище, живущее в реках и прудах; им пугают детей*“<sup>5</sup>; другие еще более несомненные примеры ср. ниже. В этой же связи уместно упомянуть два наиболее частых словосочетания, в которых участвует слово *анчутка* (кстати, смысл этих словосочетаний не всегда ясен и чаще всего весьма приблизителен и для самих информантов) — *анчутка беспятый* (*беспятая*) и *анчутка роговая* (*рогастая*). Вот лишь некоторые из примеров: *Анчутка беспятый, анчутка беспалый* (СРНГ I 262); *Анчутка, сять ты лучше, беспятая*. Псковск. обл. слов., I 66; *Анчутка беспятый* Болх. Орл.<sup>6</sup>, Максимов<sup>7</sup>, Шейн<sup>8</sup> и т.п. (ср. рассказ Погоссского „*Анчутка беспятый*“)<sup>9</sup>; *Нён'и*

<sup>5</sup> М. А. Карапулов, Говор станиц бывшего Моздокского полка Терского казачьего войска, — РФВ XLIII (1900) 86; ср. его же, Материалы для этнографии Терской области. Говор гребенских казаков, — ОРЯС LXXI 7 (1902) 47: *анчутка — водяной*.

<sup>6</sup> А. И. Сахаров, Язык крестьян Ильинской волости Болховского уезда Орловской губ., — ОРЯС LXVIII 5 (1900) 7.

<sup>7</sup> С. В. Максимов, Нечистая сила. Неведомая сила, — Собрание сочинений, XVIII, С.-Петербург, 1912, 4.

<sup>8</sup> П. В. Шейн, К диалектологии великорусских наречий. Извлечения из Сборника сказок и преданий Самарского края, составленных и записанных Д. Н. Садовниковым, Варшава, 1899, 18.

<sup>9</sup> Характерен подзаголовок украинской сказки о музыканте и чертях, опубликованной М. Драгомановым (Малорусские народные предания и рассказы, Киев, 1876, № 19, 52) — Нечистые, куці „*Антишки безп'яті*“.

ка мн'е пр'ишлá [кошка], ан'ч'утка ръгавáйа, мълакó вýл'ила...; *Ан'ч'утка ръгавáйа, д'йáвъл акайáннай, л'ázъши ы л'ázъши нъ үарóт...* *пра́л'ик т'иб'é ръшишыб'ý* [курице]; *Вз'ál'и какýйу замýч'ку* [пить водку]! *Ан'ч'утк'и раçастыи!* [ругает сыновей] Слов. Деул., 46; ср. *анчутка* беспятый, рогатый, пралик... Максимов, Ук. соч., 4 и др. К мотиву летанья анчутки ср. выше: ... *х камú ан'ч'уткъ л'атáйт'* ... Он *пр'ил'ат'йт'* ... и т.п. И, наконец, еще одно существенное уточнение: анчутка чаще всего представляется существом мужского пола (ср. согласовательную связь этого слова) и небольшого размера (ср. суффикс *-утка*, *-утик*, *-ушка* и отнесение слова – в ругательствах – к мелким животным: к кошке, курице и т.п. или к чертенятам и даже детям). В свете приведенных примеров правдоподобно предположение о териоморфности анчутки, конкретнее – о ее сходстве с водоплавающими птицами ('вода' и 'летать').

На этом этапе целесообразно обратиться к словам, которые этимологически, несомненно, связаны с *анчутка*, но по сравнению с *анчутка* сохраняют еще один элемент (-бал-, -бил-, -бул- и под.), который как раз и дает возможность для окончательного решения вопроса. Речь идет о словах русск. *анчíбáл*, *анчíбíл*, *анчýбáл*, *анчýбúл*, *анчýбáлка*; *анчíбóлит*; укр. *анчýбóл*, *анчýбóлит*, *анцибóлóтник*, *анцибóлóтський* и под. Эти слова – с более точной документацией – отмечаются довольно редко<sup>10</sup>. Тем не менее они отмечены в Псковской (Островский уезд), Владимирской (Переяславский уезд), Орловской (Дмитровский, Карабинский, Кромский, Троснянский уезды), Курской (в частности, в Обоянском уезде) губерниях, неоднократно на Дону, наконец, на Украине, что отмечается целым рядом словарей как общего, так и диалектного характера (см. Схему). Словари, фиксирующие эти слова, с надежностью указывают значения 'болотный черт', 'водяной', 'дьявол', 'сатана', Два последних значения несомненно индуцируются значениями таких слов, как русск. *антíхрист*, *анчíхрист*, *анийхрист* (СРНГ I 262–263; Псковск. обл. слов., I 66 и др.), укр. *анчíхрист* (Гринченко I 8 и др.)<sup>11</sup>,

<sup>10</sup> СРНГ I 261–262; Псковск. обл. слов., I 66; Б. Д. Гринченко, Словарь украинского языка, I, Киев, 1907, 8; его же, Словник української мови, Київ, 1970, 53; П. Г. Халанский, Народные говоры Курской губернии, – ОРЯС LXXVI 5 (1904) 18; С. М. Кардашевский, Курско-орловский словарь, – Учен. зап. Моск. обл. педагогич. и-та, XXXVI (1956) 195. Ср. случай использования слова *анчýбáл* в белорусской антропонимии (*Анчýбáлаў*), см. М. В. Бірыла, Беларуская антрапанімія, II, Мінск, 1969, 22.

<sup>11</sup> Ср. укр. *анцияи* 'антихрист' (при псковск. *анчиюд*), далее: *Антіпко* 'чорт, которому дверью отбиты пятки, отчего он хромает' (*Антíпко [хованець] викльовусся з курячего зноска; Якого антíпка кричиши*; ср. польск. диал. *Antypko* 'djabeł', см. J. Karłowicz, *Słownik gwar polskich*, I, Kraków, 1900, 17), *Антíпцо*, то же, *антíпковий* 'сделанный из антишки' (Б. Д. Гринченко I 8; Словн. укр. мови, I 50), ср. русск. *анцифер* для обозначения нечистой силы при бlr. *Люцыпыр*, он же *Анчíпыр*.

которые, кстати, видимо, объясняют место ударения в *анчыйбал*, *анцы́йбал* и под. Поэтому первоначальными значениями приходится, естественно, считать ‘болотный чорт’, ‘водяной’, что и отражено в народно-этимологических образованиях типа *анци́-болот*, *анци-болотник*, оживляющих внутреннюю форму слова (ср. другие названия того же персонажа – русск. *болотник*, *багник*, укр. *болотянік* ‘чорт, живущий на болоте’<sup>12</sup>, не говоря о многочисленных параллелях из других традиций)<sup>13</sup>. И хотя из разных видов скрещения слова *анчутка* и слов типа *антыхрист* возникли многочисленные гибридные образования, многие из которых являются несомненными инновациями, сильно затемняющими старое положение вещей<sup>14</sup>, укр. *анци́болот*, *анциболотник*, *анциболотський*, будучи сопоставленными с русск. *анчыйбал*, *анцы́йбал* и т.п. – через *анчыйболит* (< \**анчиболот*), приносят решающие доказательства в пользу предлагаемого ниже объяснения слова *анчутка* и в опровержение старой этимологии<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> П. П. Чубинский, Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, I, С.-Петербург, 1872, 193<sup>13</sup>. Связь чорта с болотом, помимо многочисленных поверий и рассказов, отражена в большом количестве пословиц и поговорок. Ср. русск.: В тихом болоте (омуте) черти водятся; Было бы болото, а черти будут; Не ходи при болоте, чорт уши обколотит; Всякий чорт свое болото хвалит; Вольно чорту на своем болоте орать; Иной ворочает дома, как чорт в болоте; Правит домом, как чорт болотом; И вылез бы чорт из болота..., да попа боится; Ходит чорт по мхам, по борам, по болотам; Навели на беса, как бес на болото и т.д. – вплоть до парадоксального утверждения *Гнилого болота и чорт боится*. См. С. В. Максимов, Ук. соч., 6 и след. Ср. диалог: „Отчего ты, чорт, сидишь всегда в болоте“ – „Привык“ и т. д.

<sup>14</sup> Ср. *анцибурничать* ‘нести вздор’ (*Поўна табе анцыбурничывать*); *анцыбуры* ‘лишние остроты’, ‘пустые разговоры’ (*Панёс свае анцыбуры*). См. В. Н. Добровольский, Смол. обл. слов., 11.

<sup>15</sup> Д. К. Зеленин, Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии, – Сборник Музея антропологии и этнографии, IX, Ленинград, 1930, 95, 102 (ср. также Б. А. Успенский, Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе, – Труды по знаковым системам, 5, Тарту, 1971, 487): *анчутка* из *Антип*, *Онисифор* и под. в силу табуистических соображений. Ср. также В. А. Меркурова, Народные названия растений, II, – Этимология 1970, Москва, 1972, 197. Неверно (\**арциболотник*) – J. B. Rudnyc'kyj, An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Pt. 1, Winnipeg, 1966, s. v. *анцибол* и под. (ср. возражения: Р. В. Кравчук, – ВЯ 4 121–122; об этимологии укр. *Антыхко* проницательно писал еще И. Франко). Также едва ли могут быть надежными попытки связать слово *анчутка* с табуистическим обозначением оленя у vogulov (*antin* ‘олень’, собственно ‘рогатый’, как параллель ср. венг. *szarvas*); об этой группе слов ср. L. He gedü s, Beiträge zum Problem des sprachlichen Tabu und der Namenmagie, – Orbis VII (1958) 81. Впрочем, некоторые финно-угорские факты могут иметь отношение к рассматриваемой теме. Так, нельзя исключать, что с указанными словами как-то связано коми-зырянск. *антус* ‘черт’, ‘бес’, употребляющееся часто как укор за неряшлисть (ср. *анчутка* ‘неряха’ и ‘бес’). К этимологии (*антус* из русск. *антыхрист*?) см. В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев, Краткий этимологический словарь коми языка, Москва, 1970, 32.

Формы типа *анци́болот*, *анциболовник*, несмотря на свое исключительное эвристическое значение, не выглядят как старые слова. Актуализируя более старый семантический компонент ('болото'), они, конечно, уступают в древности формам типа *анчи́бал*, *анци́бал* и под. (\**анчи-бол*), которые и были, собственно говоря, „исправлены“ интерпретацией -бал- как части слова *болото*. В таком случае русск. *анчи́бал* точно соответствует лит. *ánčiabalis* ‘утиное болото’ (*bala*, *kur antys esti*: *Vanagas užpuolė antis ánciabalyje Vrn.*; *Buvaū ánciabalyje pažiūrēti ančių Kb.* см. LKŽ I 131); ср. лит. *antis* ‘утка’ (prusск. *antis*), *antukas* (ср.: *Antys čia, o antukai sau po balą turškia* LKŽ 177), *antukytis*, *añtikas* и под. и многочисленные примеры с *anč-* (см. ниже) – в связи с первым членом литовского сложного слова и лит. *balà* ‘болото’ (лтш. *bala*<sup>16</sup>, прусск. названия *Balowe*, *Balyngen* и под.) – в связи со вторым членом. Таким образом, лит. *ánčiabalis*, входя в ряд других *composita* с первым членом *ančia-* (*ánčiadiobė*, *ánčiāgonis*, *ánčiagūžtis*, *ánčialovis*, *ančiāpalaike*, *ánčiapauntis*, *ančiasnāpis* и т.д.<sup>17</sup>), отличается от *анчи́бал* только тем, что обозначает место (с детерминативной связью между первым и вторым членами), тогда как *анчи́бал* обозначает лицо, связанное с этим местом (‘тот, кто относится к утиному болоту’, ‘болотник’ \**ančiabalinis*, \**ančiabalininkas*). В этом случае *анциболовник* точно воспроизводило бы семантические отношения в исходном сложном слове.

Развитию именно такого значения в *анчи́бал* не могло не способствовать и то, что некогда это слово сохраняло живые связи со словом *анчи́утка*, которое, представляя собой деминутив от первого члена слова *анчи́бал*, является как бы результатом семантического „стяжения“ более полной структуры – *анчи́-бал* (при этом *-утка* могло совмещать в себе как значение уменьшительности, так и значение указания на „стяженность“, ср. *путевое удостоверение > путевка* и под.). Само же слово *анчи́утка*, *анчи́ута* и т.п. естественно соотносится с литовскими названиями утёнка, маленькой уточки – *ančiáitė*, *ančiūkas* (ср. *ančiūkas* LKŽ I 132). Своим суффиксом русск. *анч-утка* как бы суммирует представленные порознь словообразовательные возможности этого корня в литовском: *-ūt-* и *-uk-* > *-utk-*. Вместе с тем не исключено, что в определенных условиях *анчи́утка* могло восприниматься как двуязычное тавтологическое (‘переводимое’ – ‘переводящее’) слово – *анч* &

<sup>16</sup> Ср. в соответствии с выражением *чорт знает* лит. *balàžin* с тем же значением или *пошел к чорту!* – *пошел в болото!* и под.

<sup>17</sup> Ср. также *ančiáuti*, *ančiāvimas* и т.п. О том, что сложения с этим корнем довольно обычны, свидетельствуют и данные других индоевропейских языков, ср. др.-в.-нем. *antrahho*, совр. нем. *Enterich* (ко второму члену ср. англ. *drake* ‘селезень’), др.-греч. *υησσο-φύνος* (аттич. *υηττο-φύνος*), название орла, истребляющего уток, и т. д.

утка, т.е. ‘утка’ (лит.) & ‘утка’ (русск.). В свете указанного выше сопоставления объясняются и некоторые уже отмеченные характеристики анчутки — уменье летать, эпитеты *роговая*<sup>18</sup> и *беспятая*<sup>19</sup>. Вместе с тем эти же свойства присущи и чорту, в частности водяному; ср. *рогатость* водяного в представлении жителей Смоленской губ<sup>20</sup> и беспятость чорта, у которого пятки были откушены собаками, натравленными на него Богом (ср. рязанск. *беспятый* ‘черт’, укр. *безн'ять*, *безн'ятко*, *Грицу безн'ять* и под.). В связи с балтийским происхождением *анчутка*, *анчубал* и под. можно вернуться к уже процитированному выше отрывку,енному в Смоленской губ. (об Анчутке, Мурмуле и Курдуpike). Все три персонажа, обозначающие разные виды нечисти, имеют имена балтийского происхождения. Об *Анчутке* см. выше. *Курдупик*, конечно, не отделим от лит. *kurdù-pelis* (ср. одинаковое положение ударения), но взятого не в его основном значении (‘картофель’)<sup>21</sup>, а в специализированном, отмеченном в целом ряде ливовских говоров, — ‘mažas, susitraukęs žmogus ar gyvulys’ (ср.: *Šimo sūnus gal ir bus jau tokis kurdùpelis* Lp.; *Šiemet tokie kurdùpeliai paršeliai teužaugo* Up.; *Tokias kurdùpelius mergas dantim sukapotų* Lel., см. LKŽ 944). К *Мурмуль* ср. лит. *murmùlis*, *murmulys* ‘kas murmèdamas, neaiškiai kalba’ (Cp.; *Ką tas murmùlis čia murma?* VI.; *Nemurmèk, murmùli!* Skr., см. LKŽ VIII 429): от *murmulēti*, *murmuliōti*, *murmuliúoti* и под. (ср. вариант *burbuliúoti*, *burbulúoti* и под.)<sup>22</sup>. Обозначение нечистого (и водяного, в част-

<sup>18</sup> В загадках об утке и/или гусе неоднократно упоминается рог (=клюв), ср.: ...*Лопатами ходит, а рогами ест*; ... *рожком воду пьет* и т.п. См. Загадки, Издание подготовила В. В. Митрофанова, Ленинград, 1968, 43; ср. лит. *Lopa eina, ragu ēda, trumpi rūbai; Ant lentukių vaikščioja, ragu žolę ēda...* Lietuvių tautosaka, V [Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai], Vilnius, 1968, 525 (о гусе) и др.

<sup>19</sup> Беспятость как причина характерной походки утки приводится в многочисленных описаниях её особенностей.

<sup>20</sup> С. В. Максимов, Ук. соч., 106.

<sup>21</sup> Ср. еще лит. *kurdoplé*, *kartùpelis*, лтш. *kařtupelājs*, *kařtupelis* и т.п. Подробнее о различных формах см. M. Niedermann, — Wörter und Sachen, VIII, 1923, 40 и след.

<sup>22</sup> Интересно использование корня *būb-* как для обозначения определенных акустических эффектов (ср. *bubēti*, *bubénti*, *būbtí* и т.п., в частности, с суффиксами *-teleti*, *-terēti*), так и специально в связи с нечистой силой, включая водяного; ср.: *Neik artie pri prūdelio — būbis įtrauks* Vkš.; *Lieknuose bubiai ir vélés tankiai šmaižiusios* S. Dauk.: *Neik ten, bùbis pagaus!* Grg. и т.д. LKŽ I 1111; ср. также *bùbas* (*Pasakos dar mini bibus arba bau-bus, kuriais mažus vaikus gasdina*). LT II 560, с одной стороны; *Bubena ir buben, kaip bùbas*. Ds, с другой стороны; и как обозначение небольшой округлой вещи, с третьей стороны; см. LKŽ I 1108); *bubulis* (... *nors motinos grasydavo, kad neitume, nes bubulis įtrauksiąs*). LKŽ I 1114; ср. *bubālis* (ažuole gyvenantis gyvulių bei piemenų globėjas) LKŽ I 1108; *bùbaras*, *bùbaras* и т.п. Учитывая теснейшую связь водяного с пчеловодством (потопление первого роя, просьба к водяному об успешном размножении пчел и т.д.), к этой же группе слов нуж-

ности) по издаваемым им звукам (между прочим, от соприкосновения с водой) принадлежит к числу весьма распространенных способов описания<sup>23</sup>; то же относится и к уткам, как и ряду других птиц и животных<sup>24</sup>. Таким образом, за последовательностью *Анчұтик*, *Мурмұль*, *Курдұпик* стоит что-то вроде лит. \**ančiítė* (*ančiūkas*), \**murmūlis* (*murmulys*), \**kurdūpelis*.

Приняв тезис о балтийском происхождении слова *анчұтка* и под., нельзя не вернуться к вопросу о распространении этого слова на восточнославянских территориях. То, что это слово зафиксировано и там, где пока нет никаких оснований говорить о балтийском языковом слое (Тамбовская, Пензенская, Симбирская, Саратовская губернии), не должно смущать исследователя, поскольку существуют многочисленные примеры распространения бесспорных балтизмов именно в этих местах (а иногда — по преимуществу в этих). Более сложным может показаться вопрос, почему слово *анчұтка* в западном направлении (на широтах Верхнего Днепра) доходит только до 33°—34° восточной долготы, т.е. не достигает фактически течения Днепра, и отсутствует, насколько можно судить по имеющимся данным, далее к западу, т.е. в западной половине Калужской, Орловской и Тверской губерний, в большей части Смоленской губернии, во всей Белоруссии, короче говоря, там, где балтийская речь держалась дольше и оставила по себе более многочисленные и очевидные следы. При этом следует заметить, что названия рек с корнем *Ant-/Anč-* хорошо известны как в этих районах (ср. лит. *Ančia*, *Ančiupis*, *Antytupis* и т.п.<sup>25</sup>), так и далее к востоку (ср. Уча, п. п. Птичи, л.п. Припяти, из \**Ančia* < \**Ant-ja*<sup>26</sup>) вплоть до Подмосковья (ср. Уча, л.п. Клязьмы<sup>27</sup>), и, следова-

---

но отнести и лит. *Bùbilas* (ср. также *bubilys*), ст.-лит. *Bubilos* как названия бога пчел и меда: Характерно, что у М. Стрыйковского *Bubilos* следует сразу за *Upinis Dewas*. См. W. M. n h a r d t, Letto-Preußische Götterlehre, Rīgā, 1936, 331, 340, 376 и др. О *bùbas*, *bùbis*, *bubùlis* и т.п. в связи с лтш. *ūdens velns*, *ūdens vecis*, *ūdens dievs* (ср. у Лангия 1685 г.: *Uhlen'-welns*) A. Johansson (см. ниже). Ср. также лтш. *purvu kung'i* или *rector paludis* в сообщении иезуитского патера Theophilus'a Kwek'a, относящемся к началу XVIII века.

<sup>23</sup> Ср. „Zuweilen... schnattert er (scil. болотник) wie eine Ente“, A. Johansson, Der Wassergeist und der Sumpfgeist. Untersuchungen volkstümlicher Glaubensvorstellungen bei den Völkern des ostbaltischen Baumes und bei den Ostslaven, — Acta Universitatis Stockholmensis, Stockholm Studies in Comparative Religion, VIII, Stockholm, 1968, 91; ср.: Водяной крякает по-утиному..., Н. Я. Никифоровский, Ук. соч., 77.

<sup>24</sup> Ср. напр., Lietuvių tautosaka, V [Garsų pamėgdžiojimai. Paukščiai. *Antis*], 707—708; TD VI (1939) 249 и др.

<sup>25</sup> LUEV 6.

<sup>26</sup> В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, Москва, 1962, 211. К. Буга относит сюда же и лтш. *Auce* (см. К. Būga, — ТŽ I (1923) 39).

<sup>27</sup> Ср. статью автора: *Baltica* Подмосковья, — Балто-славянский сборник, Москва, 1972.

тельно (хотя бы косвенно), свидетельствуют о наличии соответствующего апеллятива (*antis*). Объяснение – по необходимости гипотетическое и основанное преимущественно на результатах исследования балтийской гидронимии на восточнославянских территориях – может состоять в следующем. Звуковой вид балтизмов (прежде всего гидронимических), как и особенности адаптации словообразовательных элементов (прежде всего суффиксов), существенно различен в Верхнем Поднепровье, с одной стороны, и к востоку от него, в Подмосковье, с другой стороны. Не вдаваясь в детали, многие из которых далеки от ясности, можно заметить, что правила фонетической адаптации в Верхнем Поднепровье более строги и унифицированы, чаще и лучше сохраняются форманты, причем некоторые из них далее к востоку уже не отмечаются, обширнее круг лексем, используемых в гидронимии и они находят более непосредственные параллели в современных балтийских языках. Фонетическая адаптация балтийских гидронимов в Подмосковье более многообразна и прихотлива, с гораздо большим числом исключений и вариантов; суффиксы гидронимов чаще всего заменяются наиболее подходящими русскими формантами; круг балтийских формантов и корней гораздо уже; очевидно, наличие финноязычных влияний. Естественно, что сейчас трудно дать удовлетворительное историческое объяснение этому различию; важнее, что оно несомненно. Возможно, что сюда же следует отнести и другое существенное различие, которому до сих пор не придавали должного значения. Речь идет о религиозно-мифологическом противопоставлении персонажей, обозначаемых корнями *\*deiv-* и *\*vel-n-*, *\*vel-s-*, *\*vel-t-* и под. Если в балтийских областях и, видимо, по крайней мере, отчасти в примыкающих с востока восточнославянских областях первый корень использовался для обозначения положительного начала – Бога (ср. лит. *diēvas*, лтш. *dievs*), а второй – для обозначения отрицательного начала, антагониста Бога, – черта (ср. лит. *vēlnias*, лтш. *velns*), – то в восточнославянских областях (собственно на русских, преимущественно – северорусских территориях) положительное начало обозначалось через *\*vel-s-* (ср. *Велес*, *Волос*), а отрицательное – через *\*deiv-* (ср. *див*, *дивий* и под.). Иначе говоря, славяне, как и иранцы (ср. авест. *daēva*, совр. перс. *dēv* ‘демон’), изменили старое индоевропейское значение корня *\*dejv-*, тогда как их соседи балты и индоарийцы сохранили его. В условиях такого размежевания в культурно-религиозной сфере (в другой работе будут приведены еще многие примеры, говорящие в пользу этого мнения) естественно предположить, что оно затронуло и область низовой (почти бытовой) мифологии. В таком случае русские продолжатели балт. *\*ančit-*, *\*anč-* & *\*bal-*, не имевших никакого пейоративного оттенка, могли приобрести его (*анчутка*, *анчыйбал*), притом, что оно не было перенесено на русск.

*утка*. В областях, лежащих к западу, балтийское название утки, лишенное экспрессивного ореола, было вытеснено славянским (исключая гидронимию), что и объясняет – в конечном счете – отсутствие следов *анчутки* к западу от Верхнего Днепра<sup>28</sup> (интересно, что другой балтизм мифологического содержания *лáума* отмечен только в одной части Смоленской губ.).

Последнее, о чем остается сказать здесь, – причины, приведшие к тому, что название нечистой силы стало кодироваться через название утки. Выше уже указывалось, что и нечистая сила (особенно из разряда водяных), и утка в мифopoэтическом сознании описываются через ряд существенных общих атрибутов (рогатость, беспятость, характерные акусымы и под.). Особое значение имеет, конечно, тот факт, что и нечистый, и утка связаны с болотом (чему посвящены особые фольклорно-мифологические тексты)<sup>29</sup>, а болото – вход в преисподнюю<sup>30</sup>.

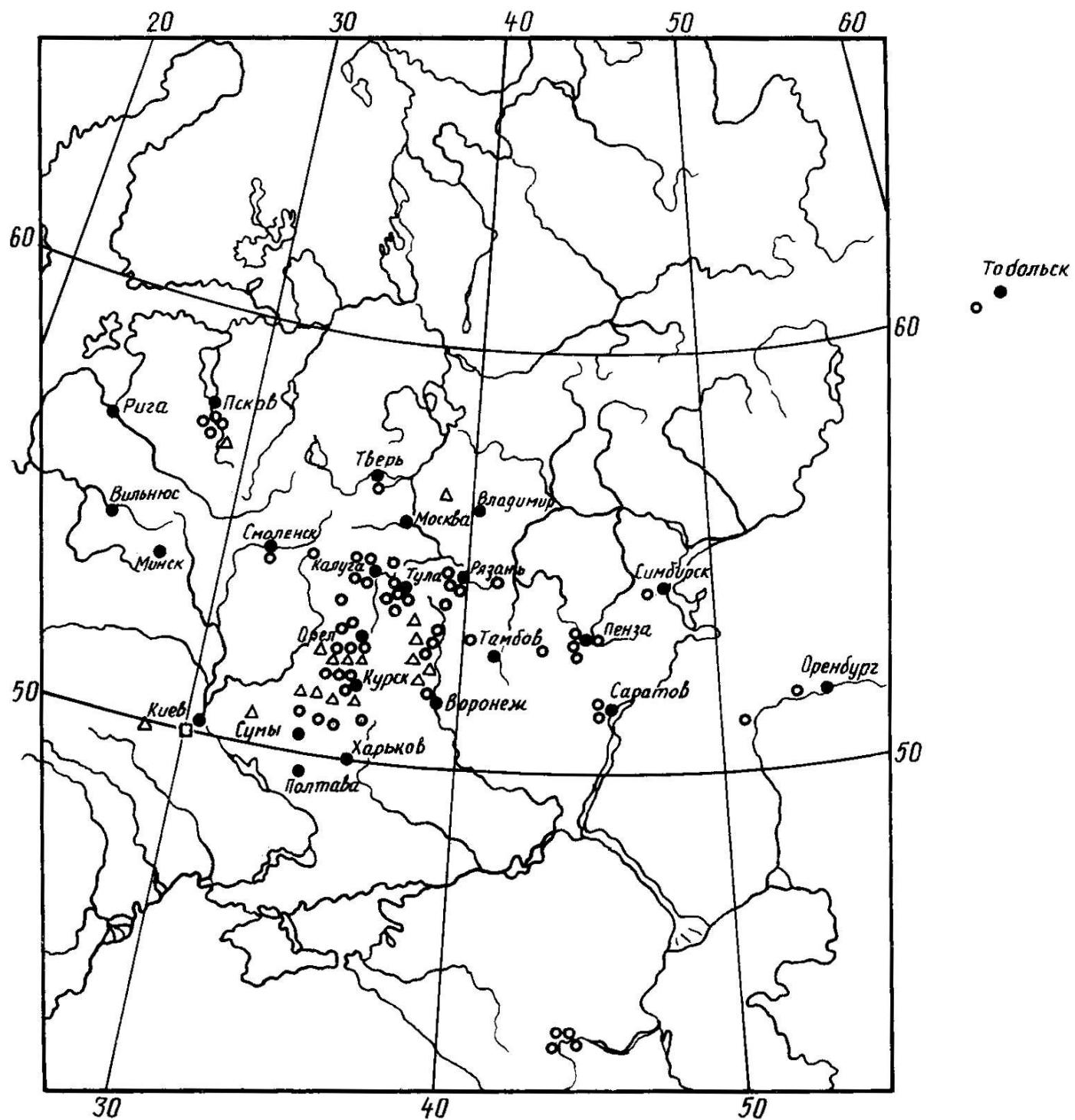
Наконец, еще более серьезное и, главное, непосредственное основание для соотнесения нечистого с уткой следует усматривать в их вхождении в одинаковую сюжетную схему. Эта схема рисует преследование героя своего противника или жертвы, при этом противник или жертва обладают способностью к превращениям. На высшем уровне, засвидетельствованном в мифологических преданиях, отчасти в сказках, герой воплощается в образе Бога-Громовержца (лит. *Perkūnas*, лтш. *Pērkons*), а противник – в образе черта (лит. *vélbias*, лтш. *velns*), который последовательно превращается

<sup>28</sup> Интересно, однако, что утка и в балтийской традиции играла известную ритуально-мифологическую роль. Помимо ряда свидетельств, почерпнутых из обрядов, суеверий и фольклора,ср. обычай выпекания пирожков в виде утки, т. наз. *ančiūtė* (ср. LKŽ I 132), что находит параллели и в восточнославянской традиции.

<sup>29</sup> A. Johansson, Op. cit.; его же, *Der Sumpf im lettischen und weißrussischen Zauberwesen*, – ScSl XI (1965) 255–262; его же, *Der Wassergeist bei Balten und Slaven*, – A. II (1965) 27–52; его же, *Der Sumpfgeist im ostbaltischen Raum und bei den Ostslaven*, – Zeitschrift für Ethnologie, XCI (1966) (учитывая, что *анчутка* во многих случаях выступает и как некий дух, действующий в пределах двора и дома, следует обратить внимание еще на одну работу того же автора – *Der Schirmherr der Hofs im Volksglauben der Letten. Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister*, – Stockholm Studies in Comparative Religion, V, 1964); из старых работ ср.: Н. Я. Никифоровский, Нечистики, – Виленский Временник, II, Вильна, 1907, 3–103; U. Holmberg, *Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker*, – MSFOu XXXII (1913) и др. Наконец, из последних работ, важных в теоретическом отношении в связи с рассматриваемой здесь темой, см.: Å. Hultkrantz (ed.), *The Supernatural Owners of Nature. Nordic Symposium on the Religious Conceptions of Ruling Spirits (*genii loci*, *genii speciei*) and Allied Concepts*, – Stockholm Studies in Comparative Religion, I, Stockholm, 1961.

<sup>30</sup> K. Straubergs, *Zur Jenseitstopographie*, – Arv XIII 1957 84 и след., а также: *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*, IV, 186 и след.; VIII, 603 и др. (ср. также старые работы И. Басановича, Л. Адамовича, В. Добровольского, Д. Зеленина и др.).

Схема распространения анчутка и под.



○ ● Тбилиси

Легенда:

- анчұтка, анчұт, анчиюәд, анчұтиқ, анчұшқа.
- △ анчұбал, анчұбыл, анцибáл, анцибúл, анцибáлка, анчұбалит;
- укр. анциболот, анциболовник.
- укр. антýпко, антýпка, антýпцо, антýпковий.

(по опубликованным материалам).

в целый ряд живых существ и неодушевленных предметов, например, в кошку, собаку, ворона, дерево, камень<sup>31</sup>. Особенно интересно, что черт в ряде случаев превращается в утку. Ср. *Griausmas muša kokį nečystą. Vieną kartą eina medžiotojas ir mato – koks antinas galvą įkišęs vandenin ir gauđo žuvis. Medžiotojas šovė vieną kartą, kitą – ir vis nenušauna. Pamislyjo, kad gali būti velnias, sukramtė nusimovęs sidabrinį žiedą, prisimušė šautuvą, kaip šovė ir nušovė... Ten būta velnio* (LTA 1081/227) или еще: *Užėjo lietus<sup>32</sup>, eidamas namo, medžiotojas pamatė ežere anti. Šovė keliskart, bet po kiekvieno šūvio antis rodė žmogui uodegą ir vėl sau plaukė. Suprates, kad velnias, šovė sidabriniu pinigu. Ištraukęs iš vandens, pamatė, kad tai ne antis, bet katė* (Mitt. IV H. 20 173)<sup>33</sup>. На более низком уровне, отраженном в балладах, песнях, играх и т.п., герой – охотник иногда охотник-жених, а тот, кого преследует он, – утка (девица, превратившаяся в утку, или утка, входящая в отношения параллелизма с девицей-невестой). При этом герой-охотник нередко оттесняется на периферию или даже отождествляется с субъектом текста, ср. *Ančių tupi trys pulkeliai, | Anti, anti, antele, | Antytėle, antyte, | Antytėle. | Kurią šausim mes antelę ... | Tai tą šausim mes antelę...*; вместо девицы = утка иногда выступают молодцы, сыновья-утки<sup>34</sup>, ср.: *Ant ezerėlio, | Ant to placiōjo, | Plaukė skrajojo | Trys antinėliai | Ne antinėliai | Tenai skrajojo, | Tai tētušėlio | Trys sūnužėliai.* Многие сюжетные элементы этой схемы, дегенерируя, дали начало целому слою образов (часто орнаментально-изобразительного или даже орнаментально-звукового типа, ср.: *Unti, unti, untela, | Untela, untela, untytėla...* и под.). Тем не менее, в целом схема достаточно устойчива, включая и мотив превращения (*Vai kad pavirsčiai*

<sup>31</sup> J. Balys, Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje, – TD VI (1939) 3–236; его же, Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose, – TD III (1937) 149–238.

<sup>32</sup> Как у балтийских народов, так и у славянских (не говоря о более отдаленных параллелях), многие особенности поведения утки предвещают плохую погоду, дождь, грозу, т.е. именно те условия, которые всегда сопровождают мифологический поединок Бога грома и его противника. Ср. латышские приметы: *Ja pīles mazgājas, tad būs lietus; Lietus gaidāms, kad pīles un citi ūdens putni ūdeni peļas; Ja pīles plivina spārnus un skrien spārnos, tad drīz būs lietus; Ja pīles stipri brēc, tad gaidāms lietus; Jo peiles pa yudini ar spuornim pleickuojas (dauzuos), tad byus leits; Ja pīles bāž galvu zem ūdens, tad sagaidāms lietus; Kad pīle bļaun, tad būs slikts laiks; Ja pīles liet zem ūdens, tad būs pērkons un liels lietus; Kod peilis pa yudini suoks plonckuoīs un klīgt, itei pīzīmēj, ka byus vysu dīnu lels pārkiuns, bez leita; Kad mājas pīles ceļas spārnos un taisās laisties, tad būs vējainis laiks; Kad pīles mazgājas un brēc, tad gaidāms lietus, ja viņas klu-sas un mierīgas, tad pērkons* и т. п. См. Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakartojis Prof. P. Šmits III, Rīgā, 1940, Nr. 24186–24209, 1462–1463.

<sup>33</sup> J. Balys, – TD VI (1939) 63–64.

<sup>34</sup> Иногда вместо утки выступает в сходных схемах селезень, ср.: – *Jūs raibi gaigalēliai ... Oi pasinerkit in dunojēlī, Išimkit vainikēlī ... Pašaus mus, gaigalēlius...* и под.

*pilka anteles*, | *Vai aš perplaukčiai jūras mareles*; ср. мотив дочерей-утиц Морского Царя или Водяного в русских сказках), и мотив поражения выстрелом жертвы (*Vienąsyk šovė...* | *Antrąsyk šovė...* | *O po trečiojo* | *Paukšteliai krito*, | *I ežerėli*, | *I vandenėli...*)<sup>35</sup>. В частности, эта схема представлена в драматизированном виде в игре „*Medžiotojai*“ или „*Ančių tupi trys pulkeliai*“ (см. *Lietuvių tautosaka*, V, 1011–1012, № 9604) – преследование охотниками уток<sup>36</sup>.

Этот параллелизм Перкунаса и черта (> утка), с одной стороны, и охотника и утки, с другой стороны, и был, по-видимому, одним из главных оснований для отождествления черт = утка, которое косвенно предполагается и изложенной выше этимологией русск. *анчутка*. Сам же параллелизм персонажей и сюжетных схем, в которые они включены, на разных уровнях не только не должен вызывать удивления, но, напротив, может рассматриваться как одно из доказательств верности предлагаемых реконструкций, учитывая основоположные в этой области работы С. Викандера и Ж. Дюмезиля<sup>37</sup>. Собственно говоря, этого, видимо, и достаточно для обоснования предлагаемого здесь тезиса. Обращение к другим источникам<sup>38</sup> привело бы к близким резуль-

<sup>35</sup> Ср. отчасти и другую игру „*Antelė*“, близкую к танцу (см. *Lietuvių tautosaka*, V, 1028–1029, № 9623), в связи с чем стоит вспомнить т. наз. „утиный танец“, миметический танец, сохраняющий еще следы связи с ритуалом (ср., в частности, изображение утиной походки, умножения уток и т. п.). Секуляризованный вариант утиной походки представлен в *boogie-wogie*.

<sup>36</sup> Ср. *Не би маих утинятачак*, | *Маи утинятки* / Тебе шкоды не делают... при исполнении русальных обрядов в Петров день; Д. К. Зеленин, Очерки русской мифологии, I, Петербург, 1916, 276–277 и др.

<sup>37</sup> S. Wikander, Pāñḍavasagan och Mahābhāratas mytiska förutsättningar, – Religion och Bibel, VI, 1947, 27–39; его же, Sur le fond commun indo-iranien des épopeés de la Perse et de l'Inde, – La Nouvelle Clio, VII, 1950, 310–329; его же, Karṇa et les Pāñḍava, – Orientalia Suecana, III, 1954, 60–66 (= Mélanges H. S. Nyberg); G. Dumézil, Mythe et épopeée, I, Paris, 1968, особенно 53–102; его же, Heur et malheur du guerrier. Aspects mythiques de la fonction guerrière chez les Indo-Européens, Paris, 1969.

<sup>38</sup> Ср. каталоги сказочных мотивов для латышского (A. Medne, Latviešu dzīvnieku pasakas, Rīgā, 1940), литовского (J. Balys, Lietuvių pasakoamosios tautosakos motyvų katalogas, – TD II), русского (Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне, Ленинград, 1929), белорусского (Л. Г. Бараг, Русские, белорусские и украинские сказки о животных в сравнительном освещении, – Эпические жанры устного народного творчества, Уфа, 1969, 167–240; его же, Сюжеты и мотивы белорусских волшебных сказок (систематический указатель, – Славянский и балканский фольклор, Москва, 1971, 182–235), а также работы, касающиеся роли утки (иногда и гуся) в символике, мифологии и фольклоре, см. Funk and Wagnalls, Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, I, New York, 1949, 329–330; G. Jobes, Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols, I, New York, 1962, 474–475, 676–677; общие индексы сказочных мотивов Аарне и Томпсона и др. Следует заметить, что символическая роль утки в снах (обман, неприятность) в известной степени сопоставима с отрицательным значением анчутки (ср.: *Не ругайся на ночь, анчутка приснится*).

татам, но путь был бы длиннее, а форма представления этих результатов менее убедительна<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Здесь не рассматривается космогонический аспект поединка Бога и его противника, хотя роль утки, гагары и т.п. в мифе творения хорошо известна; ср. индексы Аарне и Томпсона, а также M. Eliade, *Le diable et le bon dieu: la préhistoire de la cosmogonie populaire roumaine*, — M. Eliade, *De Zalmoxis à Gengis-Khan. Études comparatives sur les religions et la folklore de la Dacie et de l'Europe Orientale*, Paris, 1970; ср. особенно стр. 86 и след. (*Variantes polonaises, baltiques, mordvines*). Также не рассматривается близкий генетически мотив утка и смерть (*моя смерть далече: на море — остров, на острове дуб... в утке — яйцо, а в яйце моя смерть...* и под. в сказках о Кащее Бессмертном).